Галина Якунина

САМОБОРЕЦ

(феномен духовной эволюции Антона Чехова)

В грозы, в бури, в житейскую стынь,
При тяжёлых утратах и когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым -
Самое высшее в мире искусство.
С. Есенин «Чёрный человек»

«Главным его врагом была…

… пошлость». Звонкая фраза Горького – тема школьного сочинения – врезалась в мою детскую память, как осколок щебёнки в ветровое стекло. Микротрещина, незаметная поначалу, с годами росла и ветвилась, тревожа неуловимой связью слова «враг», не имеющего женского рода, со словом «пошлость», ускользающим от любого внятного определения. На вопрос, что такое пошлость, взрослые, пожимая плечами, отвечали кратко и скучно: вульгарность, дурной вкус, невоспитанность… Удивил только сосед-моряк дядя Костя: «Это фокус такой. Подмена, понимаешь?». Не поняла, но запомнила.

С тех пор сменились века и эпохи. А вопрос остался.

Много лет спустя Владимир Даль заставил меня удивиться ещё раз:

«ПОШЛЫЙ *(от др.-русск. пошьлъ – старинный) давний, что исстари ведётся, испоконный. Пошлый человек – опытный, бывалый, повидавший мир. Пошлый парень – зрелый, возмужалый, во всех годах. Пошлина – старинный обычай, буквально: «что пошло есть».*

Ныне – избитый, общеизвестный, вышедший из обычая; неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, вульгарным, подлым, площадным.

ПОШЛОСТЬ *– состоянье и качество пошлого. Пошлятина – все пошлое и площадное. «Допошлел до нетерпимости», «испошлился», «попошлел против прежнего».*

«Ныне» – это когда? Историки-лингвисты свидетельствуют, что до XVII века слово «пошлый» употреблялось только в благопристойном значении. Однако в конце XVII - начале XVIII веков грянули Петровские реформы, нацеленные на борьбу со всеми древними «пошлыми» обычаями. Всё, что было освящено традицией, стало признаваться отсталым, а потому – дурным и некультурным. Так в нашем языке появилось ещё одно «нехорошее» слово.

В двадцатом веке уже все толковые словари трактовали его «состоянье и качество» исключительно в негативном ключе. Причем, пошлость всё чаще приравнивалась к подлости, почти идеально совпадая с ней по звучанию и значению: «низкий в нравственном отношении, бесчестный, грубый».

Любопытно, что западная буржуазная цивилизация XIX века была пошлой для русской аристократии, приобщившейся к духовным вершинам

того же Запада. Это отношение унаследовала русская интеллигенция. **Корней Чуковский** утверждал, что «слово «пошлый» к шестидесятым годам девятнадцатого столетия «всё больше окрашивалось политическим смыслом и приобретало оттенок: застой, оцепенелость, омертвение чувств, приверженность к старым порядкам».

Здесь нелишне вспомнить, что слово «интеллигент» появилось в русском языке именно во второй половине позапрошлого века, вскоре после отмены крепостного права. В те годы и крестьяне стали всё смелее перебираться в город, заниматься ремеслом и торговлей. Как это сделали предки Антона Чехова: дед, выкупивший всю семью из крепостного состояния, и отец, уже вольным человеком открывший лавку по торговле «колониальными товарами».

В современном языке пошлость тесно соседствует с мещанством и обывательщиной. Но с этими словами тоже не всё просто. Обыватель в первоначальном значении – «оседлый житель города», мещанин – «горожанин низшего сословия». И разве не ирония судьбы, что все три слова по своему исходному смыслу подходят Чехову: родившись в семье мещанской, обывательской, он, безусловно, был человеком «пошлым»: бывалым, опытным, повидавшим белый свет.

К тридцати годам Антон Павлович прошёл всю Россию с запада на восток, добравшись до Сахалина. На обратном пути побывал в Гонконге и Сингапуре, на Цейлоне и в Индии, а впоследствии исколесил почти всю Европу: Вена, Рим, Монте-Карло, Париж, Баденвейлер…

Но, бесспорно, сахалинская одиссея стала главной в его судьбе. Вернувшись с Дальнего Востока другим человеком и другим писателем, Чехов начинает работу над документальной книгой о своём «хождении за море». Одновременно переписываются многие рассказы и пьесы, созданные до Сахалина. И одной из первых – повесть «Дуэль».

Рабство свободных

Зачин «Дуэли» прост и непредсказуем, как сама жизнь. «Было восемь часов утра», – чем не начало школьного сочинения? А дальше – обыкновенное чудо: из неприметного сюжетного зерна прорастает, ветвится, шумит молодой листвой, просвеченной солнцем, живое дерево русской прозы.

Так о чём беседует «хрипун и бурбон», добрейший доктор Самойленко, с молодым чиновником Лаевским? Да о любви, конечно!

- Я прожил с нею два года и разлюбил… то есть, вернее, я понял, что никакой любви не было. Я отлично знаю, что ты не можешь мне помочь, но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека всё спасение в разговорах…

Иван Андреевич Лаевский, главный герой «Дуэли», уже на второй странице повести ставит себе диагноз. А дальше что? Да всё то же… будет уныло иронизировать над своим поколением и копить ненависть к содержанке Надежде Фёдоровне, вся вина которой в том, что он в неё,

замужнюю, влюбился и уговорил сбежать из Петербурга на Кавказ. Среди чуждых людей и чуждой природы романтическое чувство, как водится, дало течь, а безденежье и быстро растущие долги ускорили крушение «любовной лодки». Право, немного надо, чтобы потомок дворянского рода, интеллигент с университетским образованием «допошлел до нетерпимости».

У автора с героем всего три года разницы. Но Чехов, без всякой натяжки, старше Лаевского на целую жизнь. И дело не в путешествии на край света, а в особом, дорогой ценой оплаченном искусстве держать равновесие на краю бездны. И ещё улыбаться при этом…

Дедом писателя, Егором Михайловичем Чеховым, владела «одна, но пламенная страсть»: откупиться на волю. Чего ему стоили эти три с половиной тысячи рублей, эта вольная на всю семью, полученная за двадцать лет до отмены крепостного права, знал только он сам. Но, бесспорно, личность была незаурядная, у которой слово с делом не расходилось. Недюжинным человеком был и отец Чехова, Павел Егорович, который выбился в люди, открыв в Таганроге собственное дело, громко именуемое «магазином колониальных товаров». Может, дорос и до купца первой гильдии, если бы не тяга к искусствам. Павел Чехов руководил церковным хором, играл на скрипке, недурно пел, писал маслом картины и даже иконы. Все его пятеро детей получили образование, каждый был по-своему талантлив, а сын Антон и внук Михаил стали известны всему миру. Это какая творческая силища скопилась в мужицком роду, чтобы в первых освобождённых поколениях заявить о себе столь весомо и страстно?

Антон Чехов родился за год до официальной отмены крепостничества и телесных наказаний. Его детство пришлось на эпоху великих реформ и ещё более великих надежд: Россия, казалось, обрела экономическую свободу и гласность, ввела земское управление, наметила развитие правовых отношений в обществе и государстве… Но всего пять лет отделяет падение рабства от подъёма терроризма: в 1866 году прогремит выстрел Дмитрия Каракозова, направленный в государя. Появится одна, затем вторая «Земля и воля» – революционные общества разночинцев, предтеча откровенно террористической «Народной воли».

А ведь «свобода» и «воля» - отнюдь не синонимы, хотя имеют общеславянскую основу. ***СВОБОДА*** *– от старославянского «свобство», «собство», особенность. Буквально: своё, собственное, отдельное от других. А воля – индоевропейских корней, более древних. В основе тот же корень, что у слова «велеть». Воля на русском языке означает не только желание, но и возможность его осуществить: все в нашей воле. Но, может, главное, глубинное отличие этих слов в другом: свобода – это состояние физической, телесной свободы. А* ***ВОЛЯ –*** *ещё и свобода духовная. Волюшка вольная… о свободе русские люди так не говорят. Главная мечта народа нашего и главная его болезнь: дали крепостному вольную, а он не знает, что с ней делать, потому что душа осталась в крепости.*

Стоит ли удивляться, что свобода, передержанная в темнице, страшится солнечного света, и, болезненно щурясь, идёт напролом? Не

оттого ли любая революция, даже инициированная сверху, «пожирает своих детей»? Народовольцы убьют-таки с седьмой попытки царя-освободителя. И что? На престол взойдёт Александр Третий, а реформы сменятся реакцией.

За несколько лет до цареубийства Павел Егорович, признав себя несостоятельным должником, тайком уедет в Москву. Вскоре за ним переберётся вся семья. Кроме Антона, который, доучиваясь в таганрогской гимназии, будет вынужден выполнять долговые обязательства отца. Продавая оставшиеся вещи, зарабатывая на жизнь репетиторством, шестнадцатилетний гимназист исправно отправляет деньги матери в столицу. То, что он, один из самых младших детей, фактически становится главой большой семьи Чеховых, говорит о многом. Во-первых, о редком чувстве ответственности. Во-вторых, об унаследованной от деда феноменальной работоспособности. В третьих… не тогда ли, в выпускном классе гимназии, начинается его беспрецедентный поединок с самим собой: дуэль человека, «выросшего на чинопочитании и целовании рук», и Человека, в котором «всё должно быть прекрасно»?

Дело даже не в том, что «в детстве он не видел детства», дежуря в промозглой лавке, бегая в беспросветную зимнюю рань на спевки церковного хора, зубря гимназические учебники и страдая от приступов отцовского гнева. Удивительно другое: возненавидев вместе с другими детьми «домашнюю каторгу», он, в отличие от старших братьев, не перенёс эту ненависть на отца (хотя, наверное, не случайно первая его юношеская пьеса носит название «Безотцовщина»). Поражает в Чехове-подростке сила и упругость духовного стержня. Это не арматура, а пружина: сжатая до предела домостроевским воспитанием, она начинает стремительно распрямляться после побега Чехова-старшего. И тогда к сыну вместо презрения приходит прозрение.

С годами он укрепится в своей догадке: отцовский деспотизм – это стремление вчерашнего раба самоутвердиться в кругу семьи, ибо в купеческой и чиновничьей среде он не чувствовал себя равным. Павел Егорович так и остался белой вороной среди таганрогских негоциантов: торговля и нажива не были для него смыслом жизни. Его влекла музыка, живопись, он мечтал, чтобы дети его получили образование, и последнюю копейку отдавал им на учёбу. А у Антона достало мудрости помнить не худое, а доброе, не упрекать родителя в том, что он не смог ему дать, а молча подставить плечо в самые трудные годы. То есть прежде таланта писательского в юном Чехове проявился незаурядный человеческий талант.

Диалектика дедовщины

Но любой талант надо вырастить… Спустя несколько лет студент Московского университета активно сотрудничает с дюжиной столичных юмористических журналов. И в каждом рассказе, будь то «Письмо учёному соседу» или «Радость», «Торжество победителя» или «Лошадиная фамилия», «Налим» или «Хамелеон», Антоша Чехонте до слёз смешит читателя. А смешно ли ему, окруженному своими героями: полицейскими и крестьянами,

дьячками и учителями, чиновниками и фельдшерами? В этой «немытой России», столетия которой, словно пыльные канцелярские папки, прошиты кручёной нитью хамства и раболепия, деспотизма и лжи? «Жалкая нация: сверху донизу – все рабы», – безнадёжно обронит его современник Чернышевский.

Кто догадывался, что молодой чеховский смех пробивается сквозь угрюмую память человека, «много раз сечённого, ходившего по урокам без калош, дравшегося и мучившего животных, лицемерившего к богу и людям без всякой надобности»? Кто замечал, с какой мучительной гримасой этот весельчак выжигает в себе холопство и подхалимство потомственного крепостного? Ведь талантливо запечатлеть «рабьи черты», подмеченные в себе, – это одно. Самобичеванием у нас Руси испокон веков занимаются прилюдно и охотно. А вот искоренить их – это уже дело небывалое и почти безнадёжное. Лакейский изгиб спины и подобострастная интонация передаются из поколения в поколение, как родимое пятно, проступая в улыбках, жестах, привычках.

В рассказе «Толстый и тонкий» с врачебной дотошностью приведены симптомы этой хвори: «Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился:

- Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с».

А как вдохновенно выписан «В торжестве победителя» Алексей Иваныч Козулин, выбившийся в какое-нито начальство:

- А прежде-то, что было! А? Боже ты мой! Памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом… за целковый, бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет! а скомкают да в лицо бросят: лопай! И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить… Всякий оконфузить может.

Разумеется, став начальником, Козулин сам «конфузит» кого хочет. И бывшего своего шефа Курицына, который поиздевался над ним, «смирненьким и сереньким», вволю. И своих подчинённых, которые бегают вокруг стола и «поют петушками», держа в уме перспективу стать «помощником письмоводителя»… Кто сказал, что «дедовщина» зародилась в армии? Может, и в армии, да только чиновничьей, ещё дореволюционного образца. И диалектика её с тех пор осталась неизменной:

- Мучители… Варвары… А теперь зато я… Хе-хе-хе… А ну-ка ты! Тебе говорят, безусый!

Таких «историй болезни» у Чехова – десятки и сотни. Причём, их этиология сразу выявляет теснейшую причинно-следственную связь холопства и деспотизма, тирана и жертвы. Чувство собственного достоинства одни современники писателя считали привилегией дворянства, другие – природным даром. Но те и другие сходились во мнении, что воспитать, вырастить его в себе самостоятельно человеку не под силу.

И, действительно, если мир поделён на рабов и господ, а ты не хочешь быть ни тем, ни другим, то какой путь остаётся? Писатель Гаршин, не найдя ответа, в минуту отчаяния бросается в лестничный пролёт. Другие русские таланты глушат горькую, постепенно сходя с литературной арены в небытие. Третьи пытаются свергнуть существующий строй, подпав под прелесть миража «всечеловеческого счастья и любви». Чехов выбирает самый редкий и трудный путь: творца, хозяина своей судьбы.

«Мы» или «я»?

Путь этот тоже бывает разным. Чем не хозяин судьбы зоолог фон Корен, ещё один герой «Дуэли»? Вполне современный трудоголик, фанат науки, он умеет отстаивать собственное мнение и добиваться поставленной цели, а словоблудие и нытьё терпеть не может. Естественно, таким, как Лаевский, не стоит рассчитывать на его сочувствие. Вслушайтесь в отповедь фон Корена мягкосердечному доктору Самойленко:

- Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы ещё палкой подтолкнул: тони, братец, тони… Я считаю твоего Лаевского мерзавцем и не скрываю этого. Ну а ты считаешь его своим ближним, а это значит, что ты к нему относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем.

В «одинаковом равнодушии» к своим героям упрекали самого Чехова. «Господин Чехов с холодной кровью пописывает. А читатель с холодной кровью почитывает», – характеристика известного журналиста-народника **Н. К. Михайловского**, пожалуй, не менее ядовита, чем реплика фон Корена. В отсутствии идеалов упрекал Чехова и влиятельнейший издатель А.С. Суворин.

Молодой писатель стоически хранил молчание, и только перед Сахалином дал волю чувствам. Его письмо В.М. Лаврову, издателю «Русской мысли», где Антона Павловича назвали «жрецом беспринципного писания», заняло несколько листов: «На критику обычно не отвечают, но в данном случае речь не о критике, а просто о клевете… беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был. Я, пожалуй, не ответил бы и на клевету, но на днях я надолго уезжаю… быть может, никогда уже не вернусь, и у меня нет сил удержаться от ответа».

А в "Новом времени" вскоре появилась чеховская статья, посвящённая памяти путешественника Пржевальского. Огорошенный читатель не узнавал автора, которого либеральные рецензенты наперебой обвиняли в безразличии к добру и злу: **"В наше больное время, когда европейскими обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят, сложа руки, оправдывая свою лень и свой разврат отсутствием определённой цели в жизни, подвижники нужны, как солнце… Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешёвые диссертации,**

развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба… есть ещё люди подвига, веры и ясно осознанной цели».

Но Николай Пржевальский – личность яркая: воин, путешественник, учёный. А что может быть привлекательного в Иване Лаевском, которого фон Корен характеризует с убийственной точностью:

- Он поразил своей необыкновенной лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьёт, зачем живёт не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так малокультурен и мало знает, – и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или: «Что вы хотите батенька, от нас, осколков крепостничества»? Или: «Мы вырождаемся»…» или начинал нести галиматью об Онегине, Печорине, Базарове, про которых говорил: «это наши отцы по плоти и по духу». Понимайте, мол, так, что он не виноват в том, что казённые пакеты лежат по неделям нераспечатанными и что сам он пьёт и других спаивает… причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, не в нём самом, а где-то вне, в пространстве. И притом – ловкая штука! – распутен, лжив и гадок не он один, а мы… «мы люди восьмидесятых годов», «мы, вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация…»

Ещё недавно Чехов тоже говорил «мы». В его письме Суворину есть строчки о том, что «мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников, и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей". Но после Сахалина он всё чаще говорит «я». Человек должен отвечать за свои поступки, не сваливая вину на «среду», которая «заела». Человек должен состояться как личность в любых обстоятельствах, предложенных ему судьбой.

При этом писатель воздерживается от категоричных оценок в адрес кого бы то ни было, даже людей, подобных Лаевскому. А вот по мнению фон Корена, таких никчёмных, хилых и негодных «макак» обществу надо уничтожать или изолировать. Иначе они размножатся, и человечество выродится окончательно. Ко всему прочему, такие, как Лаевский, ещё и заразны: приехав из Петербурга в провинциальный городок, он научил жителей играть в винт, пить пиво, различать сорта водки, а главное – стал открыто жить с чужой женой, демонстрируя «свободу нравов».

- Все чиновники и дамы, слушая его, ахали и охали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

Железной, «немецкой», как уточняет Самойленко, логике зоолога трудно противостоять. И доктор реагирует на его сентенции чисто эмоционально, не утруждая себя доказательствами:

- Если людей топить и вешать – к чёрту твою цивилизацию и к чёрту человечество!

Молодой дьякон Победов в разговоре участия не принимает, но слушает очень внимательно и, в конце концов, именно его неожиданный смех разряжает грозовую обстановку в доме доктора.

«Придётся читать Чехонте…»

Кто не смеялся над юмористическими миниатюрами Чехова? Но схлынет смех – и остаются невесёлые раздумья.

Вот рассказ «Загадочная натура» – один из ранних. Дорожная сценка, минимум ремарок. Начинающий писатель, сочинитель «новэлл», флиртует с хорошенькой попутчицей в купе первого класса. Жеманная дамочка, войдя в роль «страдалицы во вкусе Достоевского», повествует историю своей жизни, которая, разумеется, сплошная «борьба недюжинной натуры со средой». Тут и «беспросветная нужда», и «ошибки молодости», и «самопожертвование во имя семьи»: брак со стариком-генералом. Сюжет для русской литературы традиционнейший, вспомним хоть «Евгения Онегина». Но в чеховской трактовке он становится фарсом. Героиня «усиленно машет веером и с плачущим выражением на лице» признаётся:

- Но вот старик умер. Мне он оставил кое-что, я свободная, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо… но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! На моём пути опять препятствие и счастье мое далеко, далеко!

На вопрос попутчика, что же мешает счастью, следует эффектный ответ: «Другой богатый старик…»

В коротеньком рассказе-анекдоте слово «пошло» прозвучит из уст дамы дважды. Пошлость по Чехову – это вирус, который поражает и необратимо изменяет все здоровое и естественное. «Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность», – чётко формулирует **Владимир Набоков,** посвятивший «названию величественного мещанства» целое исследование.

Эта подмена трудноуловима поначалу. Но вирус работает и меняет все вокруг, торжествуя, как джинн, вырвавшийся из бутылки. Происходит не просто упрощение и огрубление, а *унижение высокого*. А унижение было ненавистно Чехову в любом виде. «Тлетворное дыхание пошлости» – выражение заштампованное, но оно довольно точно выражает суть явления: пошлость способна умертвить, превратить в тлен и прах всё, к чему прикоснётся: дружбу, любовь, искусство, науку… И Чехов исследует её, как опаснейшую инфекцию, со всей ответственностью врача, заметившего грозные симптомы в себе самом.

Размышляя над диалектикой чеховского творчества, **Иван Ильин** приходит к парадоксальному выводу: «Даже сущая пошлость , если она художественно изображена, предстаёт перед нами как узнанная, осмеянная или обличённая, и именно этим преодолённая пошлость. Вот почему мелкие рассказы Чехонте, пошло рисующие пошлость, не художественны.

А поздний Чехов, создавший образцы художественного рассказа, преодолевает пошлость изображаемого быта нещадным обнажением, юмором, скорбью и состраданием».

Можно не соглашаться с тем, как известный философ оценивает произведения раннего Чехова, но слова Ильина свидетельствуют, что творческая эволюция писателя шла в строгой параллели с эволюцией духовной. И менялся он столь стремительно, что коллеги-литераторы из «Будильников» и «Осколков» даже почувствовать разницу не успевали, обиженно объявляя его выскочкой и баловнем фортуны. Их можно понять: они привыкли видеть в нём собрата по газетной поденщине, компанейского малого, «шалопая, модника и бабника». Хорошим тоном в литературной среде считалось, вздохнув, обронить: «Помрёт граф Толстой, и писателей на Руси не останется. Придется читать всяких Чехонте…» Нарастающая слава Чехова будила в бывших приятелях недоумение и негодование.

Тем временем судьба, великий сценарист, усложняет ему задачу до предела. В двадцать четыре года (по другим источникам – в двадцать шесть) он, выпускник медицинского факультета Московского университета, ставит себе диагноз, по тем временам безнадёжный: чахотка. Родным ничего не говорит, держит горе в себе, сохраняя жизнерадостность, радушие, готовность всем и вся прийти на помощь.

Тот же фатальный диагноз у любимого и непутёвого брата, «Николки Косого», талантливого художника, которого Антон неутомимо опекает и наставляет: «Недостаток у тебя один: это твоя крайняя невоспитанность. Самолюбие надо бросить, ибо ты не маленький. Разбей графин с водкой и ложись читать… хотя бы Тургенева». Но Николай пьёт горькую, пытаясь заглушить предчувствие близкого конца. Его смерть в 1889 году становится потрясением для Антона. Ему самому ещё нет тридцати, но время начинает неумолимо сжиматься, отсчитывая не десятилетия, а годы, не месяцы, а дни. Он вынужден признать, что невозможно спасти человека, если он сам ничего не делает для собственного спасения.

Наверное в этом переломном году он очень ясно, до холода в сердце, осознает, что избранный им путь – это путь одиночки. И одиночество отныне будет сопровождать его всюду: в семье, в толпе, в кругу литераторов и актёров…

Побег на каторгу

Чехов, начинавший путь в литературу с анекдотов, с «осколков» и «стрекоз», всё чаще чувствует острые приступы тоски и скуки.

СКУКА *– слово, имеющее множество родственников в языках славянской группы. Начиная с грусти и печали, заканчивая болью и стоном. «Скука – боль в груди», – подтверждает и Владимир Даль, врач по профессии. – Когда боль теснит дыхание, говорят: «В грудях скучно». Скука «докучает», «донимает», от неё трудно избавиться. Остается «кукать» – бессильно роптать и ныть.*

***ТОСКА** – родная сестра скуки, они растут от одного корня. Только тоска укореняется в душе глубже и, зловеще разрастаясь, способна убить в ней само желание жить. «Стесненье духа, томленье души, мучительная грусть и тревога, маета, нойка сердца, горе, неизбывная печаль нередко обращается в болезнь с изнурительной лихорадкой, когда тоскующий человек начинает тоскнуть, тошновать, болеть душою, сохнуть сердцем, скудаться здоровьем», - подробно излагает симптоматику В.И. Даль. Бывает ещё «тоска бешеная» – от скуки и безделья. Тоже, увы, недуг широко известный и до сих пор неизлечимый.*

«Во многой мудрости много печали»… Знание жизни, добытое ценой невосполнимых утрат, нечеловеческих испытаний и неимоверного труда, придаёт чеховским произведениям терпкий привкус трагифарса, когда герои внешне смешны, порой уморительны, а «заглянешь в душу» – охватывает грусть и горечь. Разве его вина, что смех и скорбь, комедия и трагедия – неразлучные спутники любой человеческой жизни? Разве он открыл, что музы театрального искусства – Талия и Мельпомена – даже не две стороны одной медали, а маска, состоящая из двух половинок? И хохочущий человек со стороны удивительно похож на плачущего…

Древнегреческие боги постоянно смеялись над смертными. Но ведь люди – не боги, и смеются они над самими собой. А когда объект и субъект смешного совпадают, веселье уходит, как вода в песок. Тяжело наблюдать, как «тонкий» человек угодливо хихикает в тени «толстого», а надзиратель меняет угрюмый начальственный тон на хамелеонскую подобострастную улыбку. И вся окружающая действительность становится сплошной карикатурой на человечество. Сколько ни тверди, что «смеются те, кому нечего терять», или «мир выжил, потому что смеялся», очевидно, что целительная сила смеха имеет свой предел. Переступи его – и начинается истерика. Как у студента Васильева, который увидел в публичном доме, в раскрашенных вульгарных женщинах, выставленных на продажу, живых людей. Или у того же Лаевского, хохот которого «становился выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки», разрешившись, в конце концов, рыданиями…

До поры до времени Чехова спасает маска весельчака-затейника, репортёра-анекдотчика. Но душа его готовит побег. Причём из всех возможных маршрутов выбирает самый длинный и опасный, если не сказать – гибельный: через Сибирь на Сахалин. В стрессовых ситуациях люди нередко пытаются уйти от самих себя (тот же Лаевский, сбежав из Петербурга на Кавказ, пару лет спустя рвётся обратно в северную столицу). Но сахалинское путешествие Чехова – это путь к себе. Он не желает тлеть и гаснуть. Вместо того чтобы отправиться на юг и запад, на италийские курорты и германские воды, он поворачивает на восток, на остров, где страдания тысяч людей вынуждают его забыть о собственной беде: «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный… Жалею, что я не сентиментален, а то

сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку».

Разумеется, для многочисленных коллег-приятелей у него заготовлено другое объяснение: еду, мол, через Сахалин в Японию, на гейш посмотреть… Разумеется, коллеги верят – даже сто двадцать лет спустя.

Отправляется Чехов через всю Россию на перекладных, не имея ни разрешительных документов, ни казённых денег. «Я сам себя командирую, на собственный счёт», – коротко объясняет он любопытствующим. Причуда таланта? Или путь сильных людей? **«Я доволен и благодарю Бога, что он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие».** Эти слова он напишет уже в Иркутске, испытав все превратности весеннего бездорожья, неимоверную физическую усталость, хроническое недосыпание и истощение от скудной пищи. **«Грязь, дождь, злющий ветер и холод… валенки на ногах, словно сапоги из студня. Вернуться бы назад, да мешает упрямство и берет какой-то непонятный задор»…**

Читаешь чеховские письма, а в памяти звучит голос другой, женский: «Сёстры мои… я счастлива, потому что я довольна собой». Незадолго до поездки в Сибирь **Мария Волконская** призналась отцу: «Нужда и беда вызвали смелость и в особенности терпение. Я летаю на собственных крыльях и чувствую себя прекрасно». Это говорит женщина, выдержавшая гнев отца и братьев, отчаяние матери и сестёр, обвинения в том, что она плохая мать и не любит своего крошечного сына… А Чехов, который за шутками скрывает от родных правду о своём здоровье, усталость, отчаяние и готовность ко всему, тоже пишет в первом письме с дороги: «Я счастлив…».

«Слава – дым…»

Есть ли цена выше той, которую человек платит за право быть хозяином своему слову, «летать на собственных крыльях»?

«В начале было Слово», – говорит Библия. «В начале было Дело» («Im Anfang war die Tat»), – эхом отзывается немецкая поговорка. Возможно, истина в том, что слово не должно расходиться с делом? На Руси испокон веков этому единству придавали великое значение: «Давши слово – держись»…

Предупреждение суровое: чтобы сдержать данное слово, держаться порой приходится, сцепив зубы, на последнем пределе сил. И свойская усмешечка пошлости (тебе оно надо?..) может стать роковой трещиной, что незаметно будет ширить разрыв между словом и делом, словом и чувством, словом и жизнью. Что удержит человека на краю разверзающейся бездны? Труд, вера, творчество, любовь, долг?

-Любовь продолжаться долго не может, – внушает Лаевскому Самойленко. – Год, два ты прожил в любви, а теперь твоя жизнь вступила в период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, должен пустить в ход всё свое терпение.

Доктор любит своего приятеля, несмотря на его недостатки: «Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно

было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе». Иван часто напоминает Александру Давидычу растерянного ребёнка, которого «всякий может обидеть и уничтожить».

- Ты – старый ребёнок, теоретик, а я – молодой старик и практик, и мы никогда не поймём друг друга, – резонно возражает ему Лаевский. Впрочем, говорит он всегда много и складно. Чувствуя вину перед Надеждой Федоровной, перед матерью, перед своей жизнью, которую безнадёжно испортил собственными руками, он тешит себя мыслью, что можно ещё всё исправить, уехав от нелюбимой женщины и ненавистного Кавказа обратно в Петербург. Забыв, что всего два года назад ему казалось, что если он уедет с Надеждой Федоровной на Кавказ, то «будет спасён от пошлости и пустоты жизни».

Парадокс, но эти же слова мелькают в письмах Чехова перед Сахалином! И пишет он их в те годы, когда к нему приходит настоящая слава, о которой мечтает любой творческий человек. Литературная общественность Петербурга устраивает ему восторженную встречу, самые известные писатели России принимают его в свой круг на равных, драму «Иванов» с успехом ставят на сцене Александринского театра, российская Академия наук присуждает ему Пушкинскую премию за книгу рассказов.

Именно в это счастливое время он начинает всё чаще твердить: «Дрессировать себя надо!». Слово «dresser» переводится с французского двояко: «обучать» и «выправлять». Последнее, пожалуй, точнее: мало кто «выправлял» свою душевную осанку столь беспощадно, как Чехов. Знаменитая «Каштанка» считается «детской» классикой. Между тем автор в письмах сравнивает с Каштанкой себя самого, страшась, что слава превратит его в «дрессированную собачку читающей публики». Допустить, чтобы его дрессировала толпа, он, конечно, не мог. И нежелание это, возможно, становится одной из причин его побега на Сахалин.

Едва ли акулы современных пиар-технологий, диктаторы однодневной моды, продюсеры и имиджмейкеры начнут когда-либо изучать чеховский опыт восхождения на литературный Олимп. А ведь он поучителен.

По свидетельству современников, «проснувшийся знаменитым» молодой писатель чурался славы, убегал от её нарастающей волны, отказывался давать интервью: «Я страдаю автобиографиофобией». Из всех его критиков самым беспощадным был он сам. «Рухлядь», «дребедень», «жеваная мочалка» «канифоль с уксусом» – самые частые его эпитеты по отношению к собственным детищам. На этом фоне особенно знаменательно признание в письме к сестре: «Я человек самолюбивый по самые уши». Он предпочитал первым наносить удары по своему самолюбию, не дожидаясь реакции недругов. И трудился не над «проектами», востребованными публикой, а над рассказами и повестями, отражавшими его адскую внутреннюю работу. Всё с точностью до наоборот, откровенная насмешка над нынешними методиками раскруток и наводнившими телеэкран «минутами славы». Впрочем, что есть слава в исконном значении?

*«**СЛАВА** – молва, слово, честь, слух, общее мнение о ком-то, известность по качеству, – как всегда приходит на помощь «Словарь великорусского живого языка». – Добрая слава за печкой спит. А худая по свету бежит. Слава – дым. А золото – тлен». Оказывается, в корневой основе сладкоголосой славы – зыбкое слово «слыть», то есть, создавать видимость того, чего нет.*

Чехов, который ещё в юности решил для себя вопрос: быть или казаться? – не пошёл на поводу «уважаемой публики». Он повёл её за собой, рассчитывая на сотрудничество, и оттого сознательно избегая морализаторства, отказываясь от проповеди в любой форме. «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, потому что недостающие в рассказе субъективные элементы он добавит сам». Может поэтому во многих его «скучных историях» единственным положительным героем становится… сам читатель. Именно к нему, оказавшемуся *над* суетой растерянных и нелепых людей, барахтающихся «в густой, вязкой, бессмысленной повседневности», автор испытывает полное доверие и уважение.

Нелёгкий и честный душевный труд призван был освободить человека, читающего «поэму огромной и убогой русской жизни», от беликовских «футляров», снобизма и пошлости «московских Гамлетов», «убытков» гробовщика Бронзы. Но как показало время, именно чеховское доверие к читателю стало серьёзной проверкой на прочность не только для рядовых любителей литературы, но и для «остепенённых» чеховедов. Потому что они, читатели, должны были дорасти до автора.

Дорастали немногие. В самую точку попал **Корней Чуковский:** «Какая, в самом деле, нужна была сила духа, чтобы среди нетерпимых узколобых людей, воображающих себя либералами, развернуть своё знамя, на котором написано крупными буквами: «Мое святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь и абсолютнейшая свобода – свобода от силы и лжи…»

Вера сильных и слабых

- Племя рабское, лукавое, в десяти поколениях запуганное кнутом и кулаком; оно трепещет, умиляется и курит фимиамы только перед насилием, но впусти макаку в свободную область, где её некому брать за шиворот, там она развёртывается и даёт себя знать, – обличает фон Корен Лаевского, а вкупе с ним – всё поколение «лишних людей». – Посмотри, как она смела на картинных выставках, в театрах или когда судит о науке: она топорщится, становится на дыбы, ругается и критикует… И непременно критикует – рабская черта!

Но что же делать с этим человеческим «племенем»? Спор обычно молчаливого дьякона с непримиримым фон Кореном не даёт однозначных ответов на вопросы, но задуматься заставляет о многом.

- Любовь должна заключаться в устранении всего того, что вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем, – заявляет зоолог.

- Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого?

- Несомненно.

- Но ведь сильные распяли господа нашего Иисуса Христа! – горячо возражает дьякон.

- В том-то и дело, что распяли его не сильные, а слабые… У дикарей, которых еще не коснулась культура, самый сильный, мудрый и нравственный идет впереди: он вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать.

Пафос фон коренов, увы, практически не претерпел изменений со времён написания повести. Они с одинаковым апломбом вульгаризируют как научные идеи, так и религиозные, И не аргумент для них слова того же **Ивана Ильина,** что «Бог не создал ничего скудного, ничтожного или пошлого: у Него всё таинственно, глубоко и значительно. Но человеку Он предоставил возможность: или созерцать вещи в Божиих лучах, или же поглядывать на них подслеповатыми, ничтожными, жадными и злыми человеческими глазами».

Не оттого ли диалог дьякона с зоологом всё больше напоминает беседу врача с пациентом?

- Но какой у вас есть критериум, чтобы различить сильных и слабых?

- Знание и очевидность. Бугорчатых и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших – по поступкам.

- Но ведь возможны ошибки! – пытается вразумить дьякон.

- Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп.

При этом фон Корен утверждает, что верует в Христа, только… «по-своему, не по-вашему».

- Какая же это вера? – искренне изумляется дьякон. – Когда мой дядька-поп идёт в засуху дождя просить, он берёт зонтик и кожаное пальто, чтобы на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, от него сияние идёт, и все бабы и мужики навзрыд плачут. Вера горами двигает. Вера без дел мертва, а дела без веры – ещё хуже.

ВЕРА – *слово общеславянское, от индоевропейских корней, исконное значение – «истинный». Есть предположение, что латинское «verus» - вера, «venus» – любовь, и «wens» – надежда происходят от одной основы. Интересно, что первоначально «вера» означала истину и правду. И только затем – уверенность. «Вера – уверенность, – подтверждает В.И. Даль. – Убеждение, твёрдое сознание, понятие о чём-либо, особенно о предметах высших, невещественных, духовных. Отсутствие всяких в существовании Бога. Признание истин, открытых Богом, вероисповедание. Клятва и присяга». И следом – поразительное примечание: «Всякая тварь славит Господа, а человек – славословит».*

Вернувшись после разговора с зоологом в городок, дьякон, войдя в духан, спросит у татарина Кербалая:

- Как по-татарски бог?

- Твой бог и мой бог всё равно, - ответит Кербалай, не поняв его. – Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английски – всяких людей много, а бог один…

Незадолго до смерти Чехов чётко выскажет свое кредо: «Человек – это то, во что он верит». А когда его не станет, один из современников назовёт Антона Павловича «христианином дел, а не слов».

Наш современник **Анатолий Некрасов**, врач по профессии и писатель по призванию, размышляет о природе подвига: «По земле немало прошло святых праведников, способных достичь состояния блаженства. Но если они отрешены от жизни, зачем же тогда приходить на землю? Говорят, чтобы показать путь духовного подвига. Но может, духовный подвиг в том и состоит, чтобы жить счастливо на земле? И в гуще жизни своим примером показывать путь другим людям. Быть праведником в миру, а не в келье – вот она, истинная духовность!».

Можно представить, как расхохотался бы Чехов при одной попытке причислить его к праведникам. Но путь «в гуще жизни, в миру», действительно, мог бы служить примером другим людям. Он, с детства окруженный иконами, крестами и лампадами, рано почувствовал формализм религиозности. Детская душа не воспринимала поучающий отцовский тон, в котором никогда не было теплоты и терпимости. Фальшь юный Чехов чувствовал всегда безошибочно: и когда в Таганроге вместе с братьями пел в церковном хоре, и когда в доме устраивались многочасовые молебны. Но, освоив грамоту по религиозным книгам, он пронёс интерес к духовной литературе через всю жизнь. Прекрасно знал Священное Писание и все церковные обряды. И крестик перед поездкой на Сахалин надел.

Однако евангельское учение для него — не божественное откровение, а новая ступень в развитии человеческих понятий о нравственности: **«…нет ни низших, ни высших, ни средних нравственностей, а есть только одна, а именно та, которая дала нам во время оно Иисуса Христа и которая теперь мешает нам красть, оскорблять и лгать…».**

По его убеждению, богоискательство должно быть сокровенно-интимным, а не публичным: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать её места шумихой, а искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...» Эта фраза из письма перекликается с сохранившимися на отдельных листах записями: «До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть недовольным, пока не отыщет своего бога… если нет бога, то жить не для чего, надо погибнуть». Почти то же самое скажет Маша в пьесе «Три сестры»: «Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста… Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звёзды на небе… Или знать, для чего живёшь, или же всё пустяки, трын-трава».

Есть у писателя и поразительные слова о «человеке поля»: **«Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало».** Согласно Чехову, настоящей правды, «истины настоящего бога» не знает никто, но это не означает, что её нет. Она – реальность, только

непознанная. Или ложно, односторонне определяемая теми, кто претендует на её знание.

Претендовали многие. И на единоличное знание «настоящей правды», и на право войти в круг ближайших друзей писателя, имя которого не сходило со страниц газет и журналов.

«Надо же работать!»

Вернувшись в Москву, «просахалиненный» Чехов быстро устал от газетных восторгов и едва прикрытой неприязни столичных литераторов. «Я утомлён, как балерина после пяти действий и восьми картин, – пишет он сестре Марии Павловне. – Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами, поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. Все это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень».

Атмосфера двуличия была для него не нова. Отчасти, он сам был «виноват»: слишком успешным, благополучным, легкомысленным казался литературно-журналистской братии. При этом никого к себе в душу на пушечный выстрел не подпускал. Не то, что о болезни – о безденежье и загруженности работой никогда не заговаривал: всем занимал, всех приглашал к себе на обеды и «пожить, сколько захочется».

Между тем три сахалинских месяца стали самым убедительным свидетельством его нечеловеческих возможностей. Перепись островного населения, произведенная в одиночку, составила десять тысяч статистических карточек, не считая дорожных дневников, писем, прошений и жалоб ссыльных. Что говорить о его «чрезвычайной», фундаментальной теоретической подготовке к путешествию и самом путешествии, сопряженном с опасностями, гибельными для здоровья? Общественный резонанс книги «Остров Сахалин» имел небывалые последствия: впервые в истории литературный труд вынудил правительство реформировать законодательство о содержании каторжан и ссыльных. Министерство юстиции и главное тюремное управление командировали на остров своих представителей. В 1893 году отменены телесные наказания для женщин, в 1895 – назначены казенные суммы на содержание детских приютов, в 1899 – отменена вечная ссылка и пожизненная каторга, а в 1903 – отменены телесные наказания и бритье головы для мужчин. Кому из писателей удалось сделать больше?..

Главным лекарством от болезни, людской неблагодарности, безденежья и тоски для Чехова всегда была работа. А.М. Горький вспоминает слова Чехова: «Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого…»

«РАБОТА – *это труд, занятие, дело, а также вещь, которая сработана». В свою очередь* ***ТРУД*** *– это «всё, что требует усилий, всякое напряжение умственных и телесных сил: дело, занятие, забота». «Человек*

рождён в труде» – сурово напоминает народная поговорка. «Без труда нет добра», – вторит ей другая. «Бесполезный труд – не послуга», - уточняет третья. И, конечно же, «от трудов праведных не наживешь палат каменных», – лозунг и кредо обывателей всех времён. Есть в русском языке и старинный глагол ***труждаться:*** *мучиться, биться, живучи в нужде и бедности. А также долго страдать в болезни, бороться перед кончиною. Любопытно, что церковнославянское значение слова «работа» – «рабство, стоянье в рабстве». Упоминается и «чёрная» работа, ломовая, где нужны только силы.*

Выход из этой рабской ломовой мучительной доли по Чехову, как уже сказано выше, – любовь и вера. А ещё – воля и воспитание.

С любовью и верой он лечил людей и разводил сады. При этом с невероятной производительностью (и в невероятных условиях) писал рассказы, статьи и повести, в которых, «труждаясь», продолжал вести летопись своей битвы на все фронтах: с «мерзостью запустения» российской действительности и собственным недугом, пессимизмом, усталостью, желанием всё бросить, «сбежать, зажмурясь, к чёрту на кулички». Но может ли работа сама по себе стать панацеей?

«Работает он с утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное… в остальном же прочем – это ломовой конь, или, как иначе говорят, учёный тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью». Такой приговор выносит своему коллеге профессор Николай Степанович, герой рассказа «Скучная история». Чехов написал его после смерти брата Николая. Внутренний монолог профессора поражает тем, что доподлинно слышишь интонации и вздохи человека пожилого, тяжелобольного, которому в тягость его чины и должности, иконостас орденов, научный авторитет и европейская слава.

Весь рассказ – от первого лица. Только герою – шестьдесят два, а автору – двадцать девять… Дочитываешь последнюю страницу – и оторопь берет: это же он о себе пишет! Это он постарел после смерти брата более, чем вдвое! Это он, достигший признания лучших русских и европейских писателей, понимает, что любая слава – мираж. Это из-под его пера выходят афористичные строчки: **«Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий и озлобленный человек».** Для Чехова нет не только «маленьких» людей, но и «больших», кстати, тоже. Он верит в человека, но не возвеличивает его. Нет у него этого горьковского пафоса: «Так шествует мятежный Человек: вперед – и выше, выше и – вперёд!». Не любит он патетику. Просто работает над собой.

Писал Чехов, по воспоминаниям современников, с пушкинско-моцартовской лёгкостью, вызывая раздражение многочисленных «сальери», тружеников-тяжеловесов, вкалывающих за письменным столом по четырнадцать часов в сутки. Кому объяснишь, что у него «процесс» занимает все двадцать четыре часа, включая сон и разговоры в гостиной? Он же не гений, он, по собственной оценке, «на 877 месте в литературе русской». За

24 года творческой деятельности Чехов создал около 900 различных произведений – коротких юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес – многие из которых стали классикой мировой литературы. А в это время по столичным салонам гуляли сплетни, призванные развенчать "дутый авторитет карьериста и выскочки".

Доктора-землевладельцы и несытые чиновники

Летом 1891 года писатель гостит в Богимове, просторном и буйнозелёном поместье Тульской губернии. Сбежав от литературного бомонда, Антон Павлович вечерами ведёт неспешные дискуссии о социальном дарвинизме с соседом по даче В.А. Вагнером, работающим в благословенной тиши над докторской диссертацией. Долгие беседы почти всегда переходят в спор. Вагнер утверждает, что человечество из поколения в поколение вырождается, и процесс этот необратим. Чехов иного мнения: сила духа в человеке способна изменить любые негативные черты, доставшиеся в наследство. Воля и воспитание могут не только остановить «процесс вырождения», но и повернуть его вспять. Эта его мысль – одна из любимых и выстраданных – легла в основу «Дуэли».

Фон Корен, распланировав свою жизнь на десятилетия вперёд, старается всех приобщить к «делу», даже дьякона.

- Через два года, когда у меня будут готовы средства и люди, я отправлюсь в экспедицию. Я пройду берегом от Владивостока до Берингова пролива, а потом от пролива до устья Енисея. От вас зависит, поехать со мною или нет. Вернувшись из экспедиции, вы обогатитесь сознанием, что вами кое-что сделано.

Но для того, чтобы «кое-что сделать», разве обязательно уезжать на край света? Разве Дмитрий Старцев, молодой талантливый врач, не полон самых благородных намерений? Приехав в губернский город С., он искренне старается быть полезным людям. Работа составляет смысл его жизни, ради больных он трудится с утра до вечера, в будни и праздники. Как случилось, что такой беззаветный труженик переродился в Ионыча? И когда это перерождение началось? Не в тот ли миг, когда доктор сделал попытку приспособиться к чуждой среде? Ведь стоило ему заикнуться в разговоре с людьми обеспеченными и образованными о том, что «нужно трудиться, без труда жить нельзя», как «всякий принимал это за упрёк, начинал сердиться и назойливо спорить». При всём том, замечает автор, «обыватели не делали ничего, решительно ничего».

Белой вороной – вспомним Павла Чехова – быть трудно. Их мало во все времена, и человечья стая третирует чужаков ещё яростней, чем пернатая. Действие рассказа приходится на зыбкое предгрозовое время, полное дурных предчувствий, которое заставляет человека жить одним днём, дорожа трудно обретённой профессией и заработанным в поту лица рублем. Кто осудит Дмитрия Ионовича за то, что он не усердствует в своем противостоянии «приличному обществу», уступая мнению окружающих и собственной тяге к комфорту? Да, ему ведом истинный культурный уровень Туркиных,

угощающих гостей обедом, остроумием хозяина, романами хозяйки, музыкой хозяйской дочери и тающими во рту печеньями. Знает он цену и туркинскому окружению. Но приезжает в этот дом снова и снова, повторяя про себя мурлыкающее словцо «недурственно». А куда ещё податься молодому интеллигенту в провинциальной глуши? К тому же влюблённость в Екатерину Туркину не мешает приятной мысли о том, что «приданого дадут, должно быть, немало»…

Хамелеон Очумелов и приспособленец Старцев – явления одного порядка, хотя рассказы о них несопоставимы, как цирковая реприза и театральная драма. «Ионыч», собственно, и написан как сценарий, причём, кинематографический. Десять лет пролетает в «кадре» мгновенно, и вот уже доктор по вечерам пересчитывает деньги, «понапиханные во все карманы». И эти разноцветные, благоухающие и смердящие бумажки становятся для него, потерявшего голос, фигуру и здоровье, смыслом существования. «Он одинок. Живётся ему скучно, ничто его не интересует», – таков жизненный итог ещё совсем не старого Старцева.

Вирус консюмеризма (потребительства), поражающий и парализующий душу, по мнению Чехова – диагноз не столько социальный, сколько личностный. Первопричина этой хвори – душевная лень. И ни талант, ни «простонародное» происхождение, ни высокие идеалы, ни искреннее желание трудиться на благо общества не спасают Старцева, поражённого ею, от деградации.

Проблема духовного оскудения – одна из вневременных. Она не обходит людей гуманных профессий, в том числе врачей и учителей. В одном из писем Антон Павлович пророчески заметит: **«Пока ещё это студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша, и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-землевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры».**

Сказано более ста лет назад… неужели на века?

«Всё это чудачество, в конце концов…»

Вообще-то для чеховских произведений характерен другой финал. Писатель находит искру света даже в таких как «испошлившийся» Иван Лаевский или угрюмый человеконенавистник Яков Бронза. Но в том и дело, что он, почти всегда оставляющий героям надежду на возрождение, к своему коллеге Старцеву беспощаден. Поскольку пошлость – это не отсутствие воспитания, это *нежелание себя воспитывать*. Причем, нежелание агрессивное.

«Есть лишь один действительный способ борьбы против мещанства, – пишет философ, публицист и литературовед **Лев Аннинский**, – это пробуждение в человеке личности. Оно, это пробуждение, убивает обывателя куда вернее, чем сто тысяч указаний об искоренении мещанства». Лев Александрович ведёт речь об эпохе «оттепели», шестидесятых годах

прошлого столетия, когда молодая советская интеллигенция с поэтами в авангарде объявила крестовый поход против обывательщины.

Но слова о «шестидесятых» есть и у Чехова (неужели у каждого века – своя «оттепель»?): **«Шестидесятые годы – это святое время, и позволять глупым сусликам узурпировать его – значит опошлять его».** Редкое для Антона Павловича раздражение прорывается в этих строчках. Среди всевозможных «футляров», маскирующих пошлость, особое неприятие вызывала у него словесная паутина псевдолибералов: в её липком плену выхолащивалась и умертвлялась великая мечта о свободе. Далее следует знаменитая фраза: **«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр. Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям – интеллигенты они или мужики; в них сила, хоть их и мало».** Он знал, о чём говорил: истинные интеллигенты во все времена исчислялись единицами.

«Интеллигентность – это горький, мучительный талант», – подтвердит сто лет спустя **Василий Шукшин**. А талантов много не бывает – даже в России, которая традиционно щедра на них и бездумно расточительна. Остаётся утешаться тем, что они были, есть и будут, даже в самые «тяжкие и глухие» годы отечественной истории.

Сергей Булгаков нашёл для мировоззрения Чехова особый термин "оптимопессимизм". Философ считал, что "общечеловеческий, а по тому самому, и философский вопрос, дающий главное содержание творчеству Чехова, есть вопрос о нравственной слабости, бессилии добра в душе среднего человека… его душевная лень и едкая пошлость одолевают лучшие порывы и заветные мечты, идеальные стремления не поднимают, а только заставляют бессильно страдать его и создают этих хмурых нудных людей...»

Кто спорит: так дотошно, как Чехов, в литературе никто депрессию не исследовал. Он вывел её трагифарсовую формулу, создал целую портретную галерею людей, которые «не знают, что им делать и просят, как больной, испробовавший все лекарства, дать чего-нибудь кисленького».

Но разве «хмурым и нудным» не противостоят другие его герои? Разве забудешь «обыкновенного, ничем не замечательного» доктора Дымова из «Попрыгуньи»? Или садовода Песоцкого из «Чёрного монаха»? Его сад – это вдохновенное искусство, помноженное на знания и любовь. Собственно, это даже не сад, а «ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности». Но главное в рассказе всё же тихие слова Песоцкого:

- Весь секрет успеха… в том, что я люблю дело – понимаешь? – люблю, быть может, больше чем самого себя».

Людей, подобных Песоцкому, думающих о государственной пользе, любящих свою работу и умеющих «дело делать», в России всегда было немного. С точки зрения обывателя эти люди – неисправимые чудаки. Они и сами это понимают:

- Вообще, брат, я большой-таки чудак, – застенчиво признаётся Песоцкий.

Ему вторит доктор Астров из пьесы «Дядя Ваня»:

- От утра до ночи всё на ногах, покоя не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили… Когда я прохожу мимо лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти. И если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я… Всё это, вероятно, чудачество, в конце концов.

Но Чехов относится к этому «чудачеству» очень серьёзно. Это он организует посадку тысячи вишневых деревьев, не считая лиственниц, сосен, вязов, дубов. Это он, земский врач, борется с эпидемией холеры, один на 25 деревень. Это он открывает в Мелихове медицинский пункт на свои деньги и больных снабжает лекарствами – тоже на свои…

Его рецепт интересной жизни прост и непоэтичен: *труд.* Но труд бескорыстный, вдохновенный, подвижнический, исполненный смысла и нацеленный в будущее. А «неумение и нежелание» так трудиться проистекает, по его мнению, от неумения и нежелания «дрессировать себя». Впрочем, Чехов, не был бы Чеховым, если б не верил в человека.

«… я буду человеком! Буду!»

Вернёмся к «Дуэли». Главный герой повести – жизнь, и её правды, говоря устами Лаевского, «никто не знает».

Писатель не щадит ни Ивана Лаевского, который «маленькой ложью пытается купить большую правду», в действительности предавая тех немногих людей, что любят его, верят ему и помогают. Ни Надежду Федоровну, у которой хандра перемежается с игрой в «маленькое, простенькое, лёгкое и воздушное, как бабочка создание», незаметно превращая красивую и образованную женщину в «бесповоротно падшую и продажную». Фон Корена он тоже не щадит, давая вволю высказаться Лаевскому:

- Это натура твёрдая, сильная, деспотическая… ему нужна пустыня. Он идёт, идёт, идёт куда-то, люди его стонут и мрут один за другим, а он идёт и идёт, в конце концов, погибает сам и всё-таки остается деспотом и царём пустыни… Для фон Корена люди – щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он пойдёт в экспедицию, чтобы свернуть там себе шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей… а что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж… Деспоты всегда были иллюзионистами.

Сказано, заметим, за четырнадцать лет до первой русской революции и за двадцать шесть – до Октябрьской. В этой небольшой повести вообще немало пророчеств. Одно из них произносит фон Корен:

- Мы с вами будем говорить, что дуэль уже отжила свой век, что аристократическая дуэль ничем не отличается от пьяной драки в кабаке, а

все-таки не остановимся, поедем и будем драться. Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений. Мы кричим, что война – это разбой, варварство, ужас, братоубийство… но стоит только французам или немцам оскорбить нас, как мы тут же почувствуем подъём духа, самым искренним образом закричим «ура» и бросимся на врага…

Монолог написан более восьмидесяти лет спустя после Отечественной войны с французами и за полвека до Отечественной войны с немцами. Не забудем, что произносит его немец. Тот самый, что, по верному замечанию Лаевского, «прибрал к рукам всех в этом вонючем городишке, гнетёт своим авторитетом, вмешивается в чужие дела, всё ему нужно и все боятся его».

- Я ускользаю из-под его лапы, он это чувствует и ненавидит меня, – выдвигает Лаевский свою версию конфликта между ним и зоологом. Выходит, «Дуэль» в близком родстве с гончаровским «Обломовым»? Русский не поддаётся «немецкому» перевоспитанию, аристократ высокомерно игнорирует наступление капиталистической эпохи…

Нет, речь не об этом. Она о том, что ни у кого нет права ставить крест на человеке, каким бы предрешённым ни казалось его падение в пропасть. Ибо никто не знает минуты, когда душа человеческая созреет, чтобы «смутно и глухо из самой глубины» сказать:

- Я пустой, ничтожный, падший человек!.. Жизнь я до сих пор покупал ценою праздности и малодушия… страдания мои были дёшевы и пошлы… Но, клянусь, я буду человеком! Буду!

Дуэль с фон Кореном ещё не началась, но еле слышные слова Лаевского высвечены живым лучом совести, и потому исключают пошлость. Кстати, её апофеоз тоже впереди: Ивану Андреевичу предстоит узнать, что Надежда Федоровна изменяет ему с полицейским приставом Кирилиным, что в городке у неё есть и другие воздыхатели… Но странное дело: всмотревшись в лицо своей содержанки утром перед дуэлью, он понимает, что «эта несчастная, порочная женщина для него – единственный близкий, родной и незаменимый человек».

Ещё несколько дней назад Лаевский, чтобы позлить фон Корена, иронизировал:

- Что такое Ромео и Джульетта, в сущности? Красивая, поэтическая, святая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео – такое же животное, как и все…

Но в грозовую ночь перед дуэлью, наедине с самим собой, он вспоминает то, что увидел вечером в доме Мюридова, застав Надежду Федоровну с приставом Кирилиным, и ему становится «невыносимо жутко от омерзения и тоски». Впервые он задумывается о личной ответственности за содеянное: «Доброта и великодушие Самойленка так же мало спасительны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корена. Спасение надо искать в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время, надо убить себя, вот и все…».

ДУЭЛЬ *(франц. duel, от лат duellum – война) – бой, единоборство, поединок между двумя лицами по вызову одного из них.*

Условия дуэли оговариваются заранее противниками, либо секундантами, обязательно соблюдение обрядов, обычаев и правил.

Поединок – «по единому», то есть по одному противнику с каждой стороны. А если эти двое – с одной стороны, в одной душе, где вдосталь и тьмы, и света? Человеческое сердце – это не медаль с лицевой и обратной стороной, не маска из двух половинок. Именно сердце назвал Достоевский полем битвы Бога и дьявола: здесь вершатся главные дуэли, невидимые и невиданные. И самый сложный противник человека во все времена – он сам. В «Толковом словаре» Даля есть редкое слово ***САМОБОРЕЦ*:** это «боец-поединщик, сражающийся один против многих противников». А что может быть труднее повседневного самоборства не только с «пращами и стрелами яростной судьбы», но и собственными ленью, ложью, слабоволием? Не случайно семнадцатой, кульминационной главе повести предпослан эпиграф из Пушкина:

…И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,
Но строк печальных не смываю.

Строчки «Воспоминания», одного из самых вершинных пушкинских стихотворений, конечно, выбраны не случайно. Переосмысление жизни по силам далеко не каждому человеку, так же как и выход из тупика. Нелегко признаться самому себе, что это он, Лаевский, отнял молодую слабую женщину у мужа. Это он опутал её паутиной лжи, увёз «в зной, лихорадку и скуку», где она заболела физически и духовно. Это его праздность, порочность и ложь она отражает в себе, как в зеркале…

До Сахалина Чехову и в голову не пришло бы вступить в полемику с самим Львом Толстым. «Раньше «Крейцерова соната» была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошёл – черт меня знает», – шутливый тон его письма к Суворину отзывается отнюдь не шуточным эхом на страницах «Дуэли». Разве не пошло ненавидеть женщину, узнав в ней свои собственные пороки? Разве не пошло обвинять в этих пороках «общество и среду»? Тема личной ответственности становится у Чехова лейтмотивом всех его зрелых произведений. Но, верный себе, он уходит от прямого толстовского морализаторства. Каждый человек видит в его произведениях только то, что *может* увидеть. В этом смысле чеховские произведения – бесстрастное нравственное зеркало читателя.

Почему нельзя сказать: «я тебя люблю»?

Ещё **Ильин** предупреждал, что «пошлость , присоединяясь к любви, вырождает её в сентиментальность, в слепоту, в идолопоклонство». В современном русском быту слово «пошлость» ассоциируется, прежде всего, с сексом. Стоит ли удивляться, что рядом с источником жизни и высшего смысла человеческого бытия на прогретых камнях тысячелетней культуры томно греется, периодически меняя кожу, пошлость?

Дробление в человеческой душе начинается там, где нарушается гармония и цельность, неизбежно рождая чувство греховности. Невольно вспоминается ещё один синоним пошлости – «тривиальность», латинские корни которого восходят к распутью трёх дорог – «tri via» – где обычно стояли дешёвые проститутки. Впрочем, и сугубо русское слово «распутство» имеет ту же самую этимологию.

Симптоматично, что слово «пошлость» как-то незаметно ушло из словаря постсоветской литературы. В произведениях постмодернистов это понятие вообще не осуждалось: там даже категории такой не было. Они утверждали, что «всё интересно, всё имеет право на существование».

Право-то имеет… но прав **Лев Аннинский**: «Постмодернисты, обладая хорошим близким зрением, страдают отсутствием зрения объёмного… увлекательность, необычность, эпатажность деталей и приёмов оставляет, в конце концов, чувство пустоты и одураченности». Количество ненормативной лексики, голых тел и способов соития никогда не перейдет в качество. По той простой причине, что вся эта нижепоясная информация действует по принципу наркотического вещества: если интоксикация и отторжение не происходят мгновенно, то и привыкание ничего хорошего не сулит.

Прошло всего несколько лет после долгожданной отмены цензуры, и слово «любовь» в российском обществе почти перестали употреблять. Иосиф Бродский за океаном вздохнул: «Нельзя сказать уже в стихах, «я тебя люблю». А почему нельзя, если говорить искренне, без всякого стёба и снобистской, рассчитанной на «узкий круг понимающих людей», иронии?

Ведь пошлость – это, прежде всего, разрыв человека со своей высшей сутью и внутренней глубиной. Если не учитывать этого, то внешняя борьба с пошлостью оборачивается другой формой пошлости: борцы с развратом заходят в тупик сексуального ханжества, а уничтожение рабства через «бессмысленный и беспощадный» бунт приводит к ещё более беспощадной тирании. То есть, как заметил Достоевский, пошлость продолжает «тяжеловесные пляски вокруг высоких идей», стараясь лишить их цельности, фундамента.

Слово ***«ЦЕЛЫЙ, ЦЕЛЬНЫЙ»*** *на удивление многозначно. Во – первых, это неповреждённый, неиспорченный предмет и непочатый сосуд. Если речь идёт о человеке – то о «здоровом, невредимом». А ещё – «непорочном и доблестном». Целительство, синоним врачевания, означает умение «творить цела и здорова», «возвращение телу и душе чувства цельности». Удивительно современная формула исцеления: чтобы вылечить человека, необходимо вернуть ему цельность души и тела. Это справедливо не только по отношению к пациентам, но, в первую очередь, – к самим целителям: «Врачу, исцелися сам»! Врач, не имеющий цели, утративший цельность, не может, не имеет права заниматься целительством.*

Отношения человека с человеком, человека с Богом, мужчины с женщиной истинны тогда, когда они сердечны и просты, светлы и цельны. Там, где возникает искренность, уходит пошлость.

Об этой метаморфозе рассказал Чехов в «Даме с собачкой». Курортный роман, пошлость которого неискушенная Анна Сергеевна безошибочно чувствует, искренне виня во всём себя, с годами перерастает в цельную, прочную взаимную любовь. Героя «Цветов запоздалых» доктора Топоркова, который, по всем признакам, должен был повторить судьбу Ионыча, тоже спасает любовь. «Деньги, которые он вчера так усердно копил, в огромнейших дозах рассыпались теперь на пути. Он всё отдал бы теперь, если бы хоть в одном лёгком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и ей так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня…». Но, увы, солнце не спасло героиню от мрака смерти: «Не цвести цветам поздней осенью!»

«Мисюсь, где ты?»

Чехов женился поздно, хотя романов у него было множество. В том числе, по всем правилам жанра: влюблённые женщины соблазняли его и брали приступом, а затем, заламывая руки, объявляли, что он погубил их жизнь и разрушил судьбу. Он был безукоризненно вежлив, предупредительно галантен и… холоден: «Моё сердце всегда молчит».

Фон Корен в начале повести рассказывает смешливому дьякону, что Лаевскому приснилось, будто женили его на луне. Но эта луна «взошла» из писем Чехова, который признавался приятелю: **«Счастья, которое продолжается каждый день от утра до утра, я не выдержу. Дайте мне такую жену, которая, как луна, будет появляться на моем небе не каждый день».** Десять лет спустя небо его услышало…

Объяснять друзьям, что он хочет не «законного брака», а счастливой семьи, построенной на взаимной любви и уважении, было, по меньшей мере, неблагоразумно. Впрочем, о женитьбе писатель думал и даже неоднократно объявлял о близкой свадьбе. Однажды, в письме приятелю, сформулировал свое понимание семейной жизни: **«Если женюсь, то всё должно быть, как было до этого. То есть она должна жить в Москве, а я в деревне…».** За этим неожиданным, почти абсурдным заявлением – выношенный, если не сказать, выстраданный, взгляд на любовь и семью. Двое истинно любящих людей, мужчина и женщина, призваны, по его мнению, к сотворчеству, сотворению друг друга. В этом мире, разделённом национальными, религиозными, профессиональными и сословными предрассудками, одержимом мечтой о богатстве и славе, кто задумывается о главном достоянии – добрых и уважительных, искренних отношениях между людьми? Кто пытается выстроить такие отношения хотя бы в собственной семье?

Именно в семье, между мужчиной и женщиной, Чехов видел возможность непрерывного творческого процесса. Любовь снимает все стереотипы, пересматривает все нормы, правила и законы. Она отменяет

право собственности уже тем, что дарит себя. И удержать её немыслимо, если не дать любимому человеку свободу. Звучит парадоксально, но ведь речь идет не о пресловутой свободе нравов – о любви. Без неё свобода становится распущенностью, так же как любовь без свободы превращается в долг, а семья – в брак.

*«**ЛЮБОВЬ**, любленье – состояние любящего, сердечная привязанность, начиная от склонности до страсти, избрание и предпочтение кого-то волею (не рассудком), иногда вовсе безрассудно и безотчётно. **Любящий** – способный любить, одарённый горячим и нежным нравом, желающий любить. **Любимый** – дорогой сердцу возлюбленный, заслуживающий расположения и сердечной привязанности». Раздел, посвященный одному из главных слов в человеческом языке, занимает целую страницу словаря. Остановим внимание читателя ещё на одном определении: «**Любимец** – тот человек, животное или игрушка, которую предпочитают остальным». Выходит, «любимец публики» – это любимая игрушка зрительного зала?*

«Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастливы»... В окружении писателя считалось, что этими словами выражена суть отношений Чехова с **Ольгой Книппер**. Спросить мнение самого Антона Павловича, как всегда, в этом случае посчитали излишним. А между тем скука и пошлость в любви страшили Чехова более, чем где-либо. Едва сделав предложение Ольге Леонардовне, он поставил условие: никому о свадьбе не говорить, даже его родным. Непременный фрак и бокал шампанского, а также необходимость выслушивать дежурные поздравления приводили его в смятение. Даже родному брату, встреченному в день венчания, Антон Павлович о важнейшей перемене в своей жизни ничего не сказал.

Ольга приняла условие любимого человека. Они были зрелыми людьми: ей под тридцать, ему – под сорок. Улыбчивая, обворожительная, с безупречными манерами и умением элегантно носить самые простые платья, Книппер поразила Чехова как актриса и женщина. Причем, актриса именно та, которая должна была играть в его пьесах. А женщина – страстная, смелая, на самом пике очарования. Таких слов, как ей, он не писал никому: **«Здравствуй, последняя страница моей жизни, великая артистка земли русской».**

Их роман по переписке перерос в «супружество в письмах». Немудрено, что окружающим оно казалось странным и нелепым. Родственники, и друзья, коллеги и читатели словно соревновались в передаче сплетен и нелестных отзывов об Ольге Книппер. Её жизнерадостность признавали отталкивающей, её ум – ограниченным, а верность своему призванию – безнравственной. «Любая оплошность Ольги Леонардовны, любое её необдуманное слово всегда бывали кем-нибудь замечены, преувеличены, переиначены, снабжены неким символическим смыслом и беспощадно осуждены», – пишет в своей статье, посвящённой чете Чеховых, **Ирина Лыкова**. И она же свидетельствует, что в кругу театральном Ольгу Леонардовну любили, уважали и жалели. Потому что знали: она боготворила

своего мужа и считала его лучшим человеком на Земле. Что ж, Наталью Гончарову тоже считали неподходящей женой для «солнца русской поэзии».

Можно упрекнуть в «неправильном» выборе и художника, от имени которого ведётся рассказ «Дом с мезонином»: Женю Волчанинову он предпочёл её красивой, умной и деятельной сестре. По его мнению, стоит жить не ради малых и больших дел, которые копятся, словно снежный ком, и не оставляют времени о душе подумать, а ради «грустной августовской ночи» и смешной некрасивой девушки – «маленькой королевы», без которой весь мир становится одиноким и ненужным.

Как далеко шагнула с тех пор эмансипация, сколько прибавилось в мире красивых, умных, уверенных в себе девушек, жизнь которых расписана по минутам… Но разве меньше стало одиночества и больше счастья? И разве женственность не остаётся одним из главных дефицитов на планете, опутанной интернетной сетью, замороченной виртуальными «одноклассниками», «друзьями» и «контактами»? Во всех этих миражных клубах знакомств царит космический холод, где живого человека некому выслушать, обнять и тихо сказать: «Голубчик мой, красавчик»… Перефразируя библейское «много званых, да мало избранных», сегодня впору вздохнуть: «много женщин, да мало женственности». Мисюсь, где ты?..

…А шампанское, наверняка припомнилось Ольге Леонардовне в последний день жизни мужа, когда он, позвав своего коллегу-доктора, тихо шепнул по-немецки: «Я умираю». И коллега, по немецкой опять же традиции, осмотрев пациента и молча согласившись с его словами, поднёс ему бокал шампанского. Чехов выпил его до дна и, улыбнувшись жене, сказал по-русски: «Давно я не пил шампанского».

«Траур по жизни»? Не понимаю…

Три месяца спустя после дуэли, изменившей жизнь главных героев повести, фон Корен уедет из городка. Глядя на лодку, которая всё дальше уносит бывшего врага в неспокойное море, Лаевский думает: «Лодка делает два шага вперёд и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо вёслами и не боятся высоких волн… пройдет с полчаса, и они ясно увидят пароходные огни, а через час будут уже у пароходного трапа. Так и в жизни… в поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? быть может, доплывут до настоящей правды…»

Нет однозначных ответов, нет готовых рецептов, и тем более, ни у кого нет права судить людей, «топить и вешать ради блага цивилизации». **«В каждом из нас слишком много винтов, колёс и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по двум-трём внешним признакам»,** – продолжит Чехов свою мысль в одном из писем.

Молодой дьякон, который из любопытства тайком (по сану не положено) придёт на дуэль Лаевского и фон Корена, невольно решит её

исход. Наблюдая из своего укрытия за приготовлениями к поединку, он искренне пытается понять: «За что они ненавидят друг друга? Если бы они с детства знали нужду, если бы воспитывались в среде невежественных, чёрствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотёсанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы… они бы охотно прощали недостатки и ценили бы то, что в каждом из них есть. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете! Вместо того, чтобы от скуки искать друг в друге следы вырождения и вымирания… не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга».

Именно отчаянный вскрик дьякона: «Он его убьёт!» – заставит в последний миг дрогнуть руку фон Корена и спасёт жизнь Лаевскому. А в читательской душе будут, словно эхо выстрела, звучать слова: **«Даже внешне порядочных людей так мало на свете!».** В мире, где любой надзиратель может дать плохо одетому человеку зуботычину, а малограмотный фельдшер – выгнать бедняка с криком «Поговори мне ещё! Дубина…», даже простое человеческое обращение, «внешняя порядочность» воспринимается уже как благо.

Но вспомним «Палату №6», сторожа Никиту, его «суровое испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки», его «внушительную осанку» и «здоровенные кулаки». Старый отставной солдат, он принадлежит к числу «простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок, и потому убеждены, что их надо бить». А душевнобольной Дмитрий Громов, которого бьёт Никита, очень похож по внутреннему складу на студента Васильева, с трудом излеченного от депрессии после посещения публичного дома. Разве забыть его потрясение при виде торговли женщинами: «Они же живые… живые!». Громов – это «невылеченный» Васильев. А «внешне порядочный» доктор Рагин? **«Люди, имеющие служебное отношение к чужому страданию, например, полицейские, судьи, врачи, с течением времени в силу привычки закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе. С этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет телят и баранов, не замечая крови».** Беглое чеховское сравнение потрясает само по себе. Душевная глухота к страданию, даже продиктованная защитной реакцией организма, находится в прямом родстве с физическим уничтожением другого существа, не только земной твари, но и Божьего творения, человека.

Сколько боли и горя, сколько страдающих людей… Те, кто утверждает, что в России не было предпосылок для революционного взрыва, что Февраль и Октябрь 1917-го – это трагичное стечение обстоятельств, переворот, произведенный кучкой заговорщиков, не заинтересованы в показаниях таких свидетелей Истории как Антон Чехов.

Но судьба испытывает человека не только бедностью, болезнями и социальным неравенством. Красота и талант, слава и богатство тоже могут

быть безжалостными экзаменаторами. Пока «стоном гудящие улицы» исподволь готовятся к последнему и решительному бою, «приличное общество» утопает в лени, скуке и словах, словах, словах... Кто мешает вполне обеспеченным, здоровым и молодым героям «Дуэли» и других чеховских рассказов о любви быть счастливыми? За редким исключением никто, кроме них.

С чего начинается знаменитая «Чайка»? С обычного, совершенно не «театрального» разговора Маши, дочери управляющего имением, и сельского учителя Медведенко, который искренне недоумевает, почему молодая, красивая, обеспеченная девушка, ходит в чёрном, нося «траур по своей жизни».

- Отчего? Не понимаю… Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живётся гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, и ещё вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура.

- Дело не в деньгах, – меланхолично возражает Маша. – И бедняк может быть счастлив.

- Это в теории, – совершенно справедливо осаживает её учитель. – А на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего двадцать три рубля. Ведь есть и пить надо?.. Вот тут и вертись.

В зачине пьесы чувствуется активное присутствие автора, – впрочем, это отличительная черта всей чеховской драматургии. Как не услышать за словами Медведенко самого Чехова, который гимназистом, а затем студентом и молодым врачом «вертелся», подрабатывая, где только можно, чтобы поддержать свою большую и бестолковую родню? Который уже в юности понял, что никто не хочет брать ответственность за свои невзгоды и неудачи на себя. Чем слабее человек, тем охотнее он уповает на родителей, близких, государство, судьбу… Это гораздо проще, чем признать, что он сам повинен во многих своих бедах.

Самое трудное – выдержать испытания буднями и рутиной, наполнить бессобытийное существование смыслом, не откладывая жизнь на потом. Ибо ни в какую Москву не уехать от себя самих. И вишнёвый сад цветёт в душе любого из нас, главное – не вырубить его своими же руками, не дать собственной гордыне и лени подстрелить на взлёте чайку призвания и таланта.

Нет, не случайно, Чехов называл свои драматические произведения «комедиями». Все эти рефлексирующие, мечущиеся, заламывающие руки герои и героини не вызывали у него ничего, кроме усталой улыбки. Возможно, набрасывая пьесы, Антон Павлович посмеивался и над собой, над своими одолёнными страхами и амбициями, вспыльчивостью и грубостью, меланхолией и мнительностью. Возможно, он смотрел на своих героев, как на детей: ведь сам уже этот путь прошёл. А мы, читатели и зрители, усложняем смысл его произведений, ища иносказания там, где всё на поверхности. Ведь истинная цена всему познаётся только в минуты настоящей беды, непридуманного горя, грубой правды жизни, когда судьба

подводит человека самому краю и пристально смотрит в глаза: устоит ли, удержит ли равновесие?

Чеховская улыбка не ослепляет, она тихо светится сквозь тысячи его строк. Её чувствуешь, как солнечный луч, даже с закрытыми глазами. Просто надо читать, не торопясь, и время от времени отрываться от книги, чтобы увидеть за окном небо и людей, которые «может быть, доплывут до настоящей правды».

Сотворенье, сотворчество с Богом…

Удивительно, до чего заштампован его образ в нашем сознании: пенсне, бородка, глуховатый голос… Воображение автоматически дорисовывает невысокий рост и субтильное сложение «интеллигента в шляпе». А он был под метр девяносто (говорят, этот факт сильно впечатлил японцев, считающих Чехова почти «своим» национальным классиком). От природы, как дед Егор Михайлович, имел большую силу, был отлично развит физически, прекрасно плавал, приводя в изумление даже бывалых моряков. На обратном пути с Сахалина, в прогретом Индийском океане, он нередко на полном ходу нырял с носа парохода в море, а затем, как ни в чем не бывало, поднимался на борт, держась за канат, брошенный матросами с кормы. Сохранял он спокойствие и во время штормов. Когда капитан посоветовал ему застрелиться, если судно начнет тонуть, Антон Павлович от души рассмеялся. Ему, уже несколько лет ведущему поединок со смертью, самоубийство было не к лицу.

«Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звёзд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится», – говорит художник в рассказе «Дом с мезонином». По его словам, нужно жить для вечного, иметь одну цель – искание правды и смысла жизни, Бога и души, в этом заключается задача наук и искусств, «когда они настоящие». Но как отличить настоящее искусство, истинное творчество от подделки?

*«**ТВОРИТЬ** – давать бытие, созидать, производить, рождать», - перечисляет Даль. Но можно и натворить немало бед. А можно притворяться, то есть вести игру, прикидываться кем-то. Тварь и тварина по словарю Даля – «любое божеское созданье от червяка до человека. А вот определение самого творческого процесса: «Творчество – это сотворенье, созиданье и сотворчество с Богом». «Творческий дар немногим дан». Воистину…*

Все наслышаны, что талант – это дар Божий. Но кто задумывается о том, что этот дар через одарённого человека должен стать достоянием всего человечества? Талант – это не капитал, который нужно поудачней инвестировать, и не товар, который важно подороже продать. Как бы упорно ни ставили знак равенства между состоятельными и состоявшимися людьми, эта подмена остаётся обычным рекламным трюком.

Талант открывает человеку кратчайший путь к духовным вершинам. Но к вершинным свершениям искусства и науки ведут крутые тропы

самосовершенствования: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной…» Те, кто относится к этому восхождению, словно к увеселительной прогулке, быстро сходят с дистанции, либо срываются в пропасть.

На того, кто одарён, возложена двойная ответственность: ему держать ответ перед Творцом как человеку и… соавтору: *«Творчество – это сотворенье, сотворчество с Богом».* Почему же эту ответственность редко кто сознает, а уж берут её на себя и вовсе немногие? Не оттого ли, что благословенный Божий дар опутан густыми «прелестными» сетями зависти, лени, обиды, гордыни?

***«ПРЕЛЕСТЬ** – то, что обольщает в высшей мере: мана, морока, обман, соблазн, совращение от злого духа, раздражение чувств и страстей». Кто помнит о древнем, грозном, исконном значении этого слова, столь любимого поэтами?*

Чехов помнил. И написал потрясающий рассказ-предупреждение «Чёрный монах». Учёному Алексею Коврину дано всё: ум, талант, привлекательная внешность, любимое дело. Его любит замечательная девушка, уважает и называет своим другом её отец, знаменитый садовод Песоцкий. Но простая и мудрая жизнь с её садами и садовниками кажется герою пресной и скучной. Высокомерный интеллект требует поклонения ("...если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо"). И ядовитая прелесть славы берёт верх над любовью и разумом, когда выросший из вихря чёрный монах предлагает Коврину стать «спасителем человечества». Про талантливого человека говорят, что он поцелован Богом. В поцелуе чёрного монаха растворяются все радости жизни, а мираж обретает зловещую силу. В погоне за ним герой счастлив, он чувствует себя гением, вершителем судеб. И забывает тихие слова своего учителя Песоцкого: «Весь секрет успеха в том, что я люблю дело больше, чем самого себя…»

В чём смысл таланта, если он не окрыляет, а тянет на дно, если человек теряет свою цельность, свою личность, своих любимых и саму способность жить? Почему ради блага отвлечённого человечества необходимо сделать несчастными самых близких людей? Этому мистическому рассказу посвящено множество статей, он поставлен на театральной сцене, неоднократно экранизирован. Споры о том, какой смысл вкладывал Чехов в ту или иную фразу героев доходят до абсурда: недавно третейским судьей был назначен компьютер… Но ведь сам автор писал Суворину: «Это рассказ медицинский, historical morbi». И далее открытым текстом говорил о том, что Коврин болен манией величия, которая поразила многих его современников, сломала психику, исковеркала жизнь.

Так может идея сложнейшего произведения проста? И главное в человеке – это способность к *самотворению*, духовной эволюции? Чем писатель отличается от других людей? Ничем, кроме одного: постоянная работа над собой находит у него отражение в книгах. «Писатель дорог и нужен нам только в той мере, в которой он открывает нам внутреннюю работу своей души», – заметил в дневнике **Лев Толстой**, уже став автором

«Войны и мира». Сознаём ли мы, читатели, насколько этот дар, сопряженный с духовным подвижничеством, на самом деле редок, труден и ценен?

«Какие страшные убытки!»

«Кто испытал наслаждение творчества, для того все другие наслаждения уже не существуют»... Но в том-то и дело, что творчество Чехова не ограничивалось литературой. Творя себя, он творил и окружающий мир, преображая пустоши и заброшенные поместья, разводя цветники и клумбы, устраивая фантастические праздники для своих друзей и родных. Про его общественную деятельность на школьных уроках обычно упоминают скороговоркой, потому что иначе в сорок пять минут не уложиться: человек сделал больше, чем целые государственные учреждения. Про Сахалин повторяться не будем, но когда в 1891-92 годах в Поволжье разразился голод, именно Чехов организовал сбор пожертвований и сам выехал в районы бедствия. А ещё он построил три школы для крестьянских детей, а также колокольню и пожарный сарай для сельских жителей, страдающих в засушливой местности от пожаров. А ещё был гласным земства, причем, работал в полную силу, добившись строительства шоссейной дороги, открытия почты и телеграфа. В родном Таганроге открыл общественную библиотеку, передав в неё более двух тысяч книг. Антокольского, знаменитого скульптора, жившего в Париже, уговорил подарить городу скульптуру Петра Первого. И взял на себя всю организацию отливки статуи в бронзе, а затем доставки её морем из Марселя в Таганрог. В Ялте, где мучительно истекали последние годы и месяцы его жизни, хлопотал об открытии пансионата-санатория для малоимущих учителей, больных туберкулезом.

«Никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками?». Этот вопрос из чеховского письма, только в более остром, «крайнем» звучании задает себе гробовщик Яков Бронза из «Скрипки Ротшильда». Угрюмый скопидом и деспот, жена которого умирает с «ясным и радостным» лицом от одного сознания, что уходит от него навеки, герой рассказа после смерти супруги начинает меняться на глазах.

Примитивно-комичные размышления на излюбленную тему «убытков» сменяет ошеломительный взлёт к высотам философским и нравственным: «Жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала не за понюшку табаку. Впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад – там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берёт… И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков?.. Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену? Зачем люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки!».

Виктор Шкловский тонко заметил, что у Чехова «человек даётся и таким, какой он есть, и таким, каким он мог бы и должен быть». Бронза-гробовщик и Бронза-скрипач – это неразъёмная чёрно-белая маска трагедии и

комедии, жизни и смерти, Божьей искры и духовного убожества. Когда, по замечанию одного из современных исследователей, «бесчеловечно прожитая жизнь гробовщика оказывается непрожитой жизнью музыканта». В такой ситуации действительно, «от жизни человеку – убыток, от смерти – польза».

Преображение Якова начинается с наваждения: он вспоминает то одно, то другое событие из прожитой жизни: первые годы супружества с Марфой, рождение ребёнка… Меняется и его отношение к еврею Ротшильду, с которым он играл на свадьбах, но в душе презирал и ненавидел, сам не зная, почему. Ротшильд вдруг становится по-человечески интересен умирающему Бронзе, у него неожиданно прорывается немыслимое до того слово «брат». «Захворал я, брат», – говорит он, задыхаясь. Это слово обретает в чеховском тексте особый вес. Уличное прозвище гробовщика больше в рассказе не упоминается: Яков перестаёт быть «Бронзой», когда плачет, играя на скрипке свою последнюю мелодию. Он завещает скрипку Ротшильду, который, запомнив удивительную печальную и светлую музыку прощающей и прощающейся души, будет играть её людям.

Мысль об «убытках», которые человек, не задумываясь, причиняет себе и другим, не давала покоя Чехову всю жизнь, переходя из рассказа в повесть, из повести в пьесу, из пьесы – в письма. Причём частенько доверял он её, как и другие свои сокровенные думы, отнюдь не главным героям, а персонажам второстепенным. В этом писатель тоже верен себе: а что особенного? Чем автор отличается от любого действующего лица?

Вот фельдшер Ергунов из рассказа «Воры», по авторской характеристике «человек пустой, известный в уезде за большого хвастуна и пьяницу», бесцельно бредёт по улице и неожиданно для себя оказывается в поле. «Там пахло весною и дул теплый ласковый ветер. Тихая звёздная ночь глядела с неба на землю. Боже мой, как глубоко небо, как неизмеримо широко раскинулось оно над миром!».

Какое классическое произведение из школьной программы первым приходит на ум? «Война и мир», небо Аустерлица, раненый Болконский… Что может быть общего между князем и фельдшером? Да ничего, кроме того, что оба из мира людей. И Ергунов, пьяно покачиваясь под звёздным небом, думает свою немудрёную «маленькую» думу: «Хорошо создан мир, только зачем и с какой стати люди делят друг друга на трезвых и пьяных, служащих и уволенных?.. Почему трезвый и сытый покойно спит у себя дома, а пьяный и голодный должен бродить по полю, не зная приюта?.. Кто это выдумал?».

Метаморфозы «чёрного человека»

О, эта освященная столетиями традиция русской литературы – жалеть и воспевать маленького человека! Эти бедные лизы, станционные смотрители, акакии акакиевичи, мармеладовы, каратаевы… несть им числа. И сам Чехов разве не пополнил эту галерею тем же Беликовым или Ионой и Ванькой Жуковым? Когда, на каком этапе изменился его взгляд на жизнь, и люди

высветились иначе? Не с этой ли фразы: **«Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей, а это скверно!».**

«Обыкновенный человек становится маленьким лишь тогда, когда он теряет способность открыть свои возможности в том положении, в котором оказался. Маленький человек появляется там, где пропадает личность и остаются одни обстоятельства. Фатальна не судьба маленького человека, а скорее, та жалость, которую иные писатели хотят излить на него», – размышляет **Лев Аннинский** в книге «Ядро ореха». И с ним нельзя не согласиться: люди рождаются обыкновенными, а «маленькими» они делают себя сами.

Портреты «маленьких людей» девятнадцатого века созданы, по преимуществу, дворянами. Люди, именуемые маленькими, до поры до времени не имели права голоса, они и «грамоте не разумели». А когда появился на русской земле писатель «из мужиков», он молча стряхнул со своего плеча жалостливую барскую руку: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости…»

Продолжение этого письма известно каждому школьнику: **«Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук и поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сечённый, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший к Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по капле раба…»** Впечатляющий перечень «выдавленных капель», не правда ли?

Для того, чтобы стать вольным, надо быть ещё и волевым человеком. Иначе никогда бы Чехову не одержать победу в невидимой дуэли с «маленьким», но таким всевластным человечком, который с одинаковой лёгкостью играет роль и палача, и жертвы. Да что там! Не он ли вырастает однажды перед Ковриным в чёрном монашеском одеянии? Не этот ли «чёрный человек» столетиями блуждает по страницам мировой и русской классики? Но тогда никакой он не призрак, а тем более – не агент всемогущей «конторы глубокого бурения», которую обвиняют в смерти то Есенина, то Высоцкого, то других поэтов. Это alter ego художника страшней и опасней: его «поцелуй» способен запустить на полную мощь программу самоуничтожения, а мёртвая хватка – погубить самый яркий талант и незаурядную личность.

…И всё-таки победить его можно. Иначе никогда бы нам не услышать возглас Николая Васильевича фон Корена (имя-отчество он обретает только в финале повести, когда из человекоподобного механизма, запрограммированного на многие годы вперёд, превращается в обычного человека из плоти и крови). Фон Корена, увидевшего в утро дуэли над рассветным морем двойной зелёный луч – редчайшее явление, которое, по народной примете, сулит большие перемены в жизни. Нового фон Корена, не

узнающего нового Ивана Лаевского, который работает допоздна, потихоньку выплачивает долги и никому ни на что не жалуется, хотя «живёт хуже нищего». Два антагониста, два героя «Дуэли» победили не друг друга, а самих себя, сумев, по замечательному определению Льва Аннинского, *«собраться в личность».*

- Как он скрутил себя!.. – тихо изумляется зоолог.

А дьякон, глядя на бывших врагов, только и находит силы повторить:

- Какие люди! Боже мой, какие люди! Один победил тысячи, а другой – тьмы…

«Жизнь даётся один раз…»

Ключом к пониманию творчества Чехова могли бы стать слова **Максима Горького:** «Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошёл большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадёжной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал: «Скверно вы живете, господа!».

Могли бы. Но не стали потому, что Чехов «тоном глубокого упрёка с безнадёжной тоской» этих слов никогда не сказал бы. И не только вслух, но и про себя. По той простой причине, что смотрел на людей иначе, чем «буревестник революции».

Путь, избранным им, исключал примыкание к любому лагерю. Чехов равно не терпел «умственное сектантство», политическое актёрство и религиозный фанатизм: **«Фарисейство, тупоумие и произвол царят не только в купеческих домах и кутузках, я вижу их в науке, в литературе, среди молодёжи».** Для него решающую роль в любом знакомстве играло наличие или отсутствие «человеческого таланта».

Какую редкостную бережность проявлял он в обращении с другими людьми, особенно заметно в письмах. Читаешь их, и не оставляет чувство, что слышал эти интонации, читал историю этой жизни в другом романе. Историю землянина, человека из будущего, который добровольно взял на себя крест жить на планете, застрявшей в эпохе средневековья. Который ежедневно одолевает дикость, ненависть, животную злобу, пошлость и грязь его окружающие. И не имеет права вмешиваться в ход событий, не может передать людям свои знания и опыт: они должны дорасти сами. А дорастут ли? Когда бы знать… А пока надо держаться, надо не озлобиться самому, не возненавидеть этот безумный и пошлый мир, где в цене только деньги, слава и власть. Трудно быть богом… Интересно, по случайному ли совпадению главный герой знаменитого романа братьев Стругацких – тёзка Антона Павловича?

Или ещё одна неожиданная параллель: *«Жизнь даётся один раз…».* В советской школе мы учили кредо Павки Корчагина наизусть: «… и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому

прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества…» Но Чехов не Островский, у него другое: **«Жизнь даётся один раз, и хочется прожить её бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю…».**

«Надо» и «хочется» разделяет целая эпоха: **Николай Островский** родился в тот год, когда умер Чехов. Сегодня, в третьем тысячелетии, оставив за скобками шукшинский вопрос: кто прав? кто умнее? – нам остаётся уважительно склонить голову перед подвигом мальчика, который сжигал себя во имя «освобождения человечества», и мужчины, который мучительно растил в себе Человека.

Расцвет чеховского творчества пришёлся на эпоху безвременья, когда русское правительство, устав угождать либеральной Европе, начало «закручивать гайки», арестовывая, ссылая, подавляя и казня. Освободительное движение зашло в тупик и мало-помалу, как любое остановленное течение, превратилось в болото. Трагедию сменил фарс: любое дело свелось к бесконечным разговорам о деле и всё, чем живет и держится на земле человек – любовь, вера, творчество, труд – «испошлилось до нетерпимости». Когда речь идёт об искусстве, синонимом пошлости обычно называют бездарность, которая убого копирует всё и вся, ибо придумать что-то своё не в силах. Пошлость – это поведение холопа в барском доме, когда он в лицах изображает отсутствующих хозяев. Иногда выходит комично, а чаще – зло, ибо прорывается неутолённая зависть и месть. По сути, пошлость – это и есть *неизжитое рабство*.

Век спустя мы снова стали свидетелями и участниками этой трагикомедии, которая претерпела изменения разве что в сторону киношности, голливудского фаст-фуда и биг-мака. Неужели смена эпох и политических режимов идёт с той же неумолимой цикличностью, что и смена времён года? И утешаться остаётся только тем, что всякий раз в весеннем хаосе, в развороченной, неухоженной земле из небытия проступают цветы, словно первые звёзды в послегрозовом небе. Их немного, но, наверное, именно такими глазами смотрит на нас вечность.

«Делай, что должно…»

Как жизнь сделать книгой, интересной для миллионов людей? Да очень просто: совершить то, что миллионам в голову не приходило. А если и приходило, то казалось невозможным. Или – ненужным.

Что сделал Чехов? Всего в один шаг – в течение своей недолгой жизни – одолел путь, который социологи считают уделом многих поколений. Путь, который предполагает после освобождения от рабства длительное накопление духовного капитала, обретение с помощью опытных наставников внешнего лоска, благородства манер, особой выправки, духовной стати, которая то ли в пятом, то в седьмом поколении становится врожденной… Примерно так к дикому сильному саженцу прививаются черенки благородных сортов, и год от года на крепнущем деревце вызревают всё более весомые и ценные плоды. Так разрастался и вызревал столетиями

могучий род Льва Толстого: учёные, полководцы, дипломаты, высшая светская и духовная элита России.

А Чехов, внук крепостного мужика и сын лавочника, оказался ещё нетерпеливее деда, который всего-то два десятка лет не дотерпел до царского указа, выкупил вольную. Духовный труд, который взвалил на себя Антон Чехов, был беспримернее по масштабу и напряжению. **«Деда нашего помещики драли и каждый последний чиновнишка был его в морду. Какие нервы, какую кровь мы получили в наследство? Посмотри на меня… ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно, я боюсь дворников, швейцаров, городовых, жандармов, я всех боюсь, потому что я вырос от затравленной матери, с детства я забит и запуган!..»** – вслед за Фёдором, героем повести «Три года», автор с полным правом мог повторить эти слова.

Вырваться из крепости собственных комплексов, выдрессировать, вырастить себя, безжалостно отсекая одно и прививая другое чрезвычайно сложно ещё и потому, что никто из окружающих людей тебе не только не поможет, но будет всеми силами, вольно или невольно мешать. Перевоспитывать окружающих – дело бесполезное. Это Чехов понял ещё в молодости: ни старшие братья, ни, тем более, отец, ни даже Лика Мизинова, красивая, одарённая и влюблённая в него девушка, делить с ним этот путь не стали. Что говорить об остальных?

«Самостоянье человека – залог величия его»… Двадцать лет он боролся со смертельной болезнью. Но никто, даже самые близкие, не слышали его жалоб. Разве что незадолго до смерти выдержка изменила ему в письме: "Вы совершенно верно изволили заметить, что у меня истерия. Только моя истерия в медицине называется чахоткой". Он, как никто, умел быть благодарным жизни, радоваться каждому её дню, сознавая, что «человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не может уберечься от смерти, и надо быть ко всему готовым... Надо только, по мере сил, исполнять свой долг!.. и больше ничего".

*«**ДОЛГ** – всё, что должно исполнить, обязанность. Общий долг человека вмещается в долг его перед Богом и перед людьми, долг гражданина и семьянина. Исполнением этих обязанностей он в долгу, они составляют долг его как взятые взаймы деньги или вещи, всё, чем обязан он по обещанью или условию. Нет труднее: Богу молиться, родителей почитать, да долги отдавать».*

«Он выполнил свой долг до конца»… Обычно так говорят о военных и государственных деятелях. Впрочем, о докторах тоже. А о писателях? Точно подметила критик **Татьяна Москвина**: «В конце концов, гениальность – это умение выполнить все стоящие перед тобой задачи, а не оценка возможностей и заслуг». Добавим только, что для этого жизнь должна стать подвижничеством, то есть подвигом, протяжённым во времени. Когда не

рабская покорность судьбе, а стоицизм воина рождает слова: «Мы отдохнём… мы увидим всё небо в алмазах…»

Впрочем, была в его жизни отдушина: он растил сады. И любимые астровы, коровины, песоцкие, хрущовы, конечно же, говорили его словами: «Когда я слышу… как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю… что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я». В письме жене, за два года до смерти, писатель признается: «Дуся моя, если бы я теперь бросил литературу и сделался садовником, то это… прибавило бы мне лет десять жизни». Одолевая боль и приступы слабости, Чехов работал в своем ялтинском саду и, по воспоминаниям матери, всё время загадывал: примет земля цветок или деревце, которое высадил, значит, и он ещё поживёт…

Говоря о том, что именно «Вишнёвый сад» стал его творческим завещанием, школьные учителя обычно упоминают чествование, которое устроили Чехову в Малом художественном театре в день премьеры пьесы. Да, «чествовали» его от всей широкой русской души: бесконечные речи, корзины цветов, адреса, овации… Настоящий медвежий вальс вокруг мертвенно бледного человека, собравшего в кулак всю волю, чтобы не потерять сознание, не упасть прямо на руки восторженной публики.

О том, что название «Вишневый сад» несёт двойную смысловую нагрузку, вам сообщит любой школяр, успевший заглянуть в учебник: «В пьесе говорится о символе «дворянского гнезда», эпоха которого невозвратно уходит в прошлое, но одновременно это и обобщённый символ России, её природной поэтической красоты». «Вишнёвые сады вырубаются, – добавит он, сделав выжидательную паузу и глядя через плечо учителя в журнал, – но придёт день – посадят новые».

Да не о деревьях-то речь! О том, что «вся Россия – наш сад». Сколько поколений актёров на разные голоса и с разными интонациями произносило эти слова! Но Петя Трофимов, в уста которого автор вложил поэтичную фразу, не меняется на протяжении всей пьесы. Так и стареет, оставаясь вечным студентом. Не оттого ли, что быть садовником себе самому – намного труднее, чем высадить сотни деревьев? И всё же, создавая эту грустную «комедию», Чехов верил в своего зрителя. Растить себя, растить в себе человека необходимо при любом «тысячелетье на дворе». Иначе только и останется безнадёжно вздохнуть в финале: «Жизнь-то прошла, словно и не жил. Эх ты… недотёпа!».

- Как хороша будет жизнь через триста лет! – сказал Антон Павлович Александру Куприну во время одной из последних встреч в Петербурге. Он верил, что людей гармоничных, творческих с каждым годом будет становиться больше. Верил, что неимоверная духовная работа, проделанная им, со временем станет обычной для любого образованного человека. Если вчерашние чудеса техники так стремительно входят в повседневный быт, то почему нельзя передавать и совершенствовать опыт самостроительства? Память об этом разговоре Куприн пронёс сквозь две революции и две войны. Тридцать шесть лет спустя, умирая в Ленинграде, он вспомнил его...

«Человек-океан…»

…«Какая могучая, чисто стихийная сила – Антон Чехов», – прочитала я в дневнике одного из современников Антона Павловича. И вспомнила разговор с японским писателем, гостем Владивостока. Потомок самураев признался, что именно Чехов примирил его с Россией. Россия, по словам японца – это «страна-океан», бескрайняя, непредсказуемая и оттого опасная. А Чехов – «человек-океан», который титаническим душевным трудом сумел победить стихию собственных страстей. Этот подвиг не повторил за ним ни один писатель. Именно Чехов, по мнению литератора из Страны Восходящего Солнца, где цветущие вишни символизируют быстротечность и хрупкость человеческой жизни, сумел восстановить гармонию внутреннего и внешнего мира, указав путь людям будущего.

«Какой головокружительной, опасной кручей шли они», – скажет об этом пути Василий Шукшин, имея в виду русских классиков: Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого. И, конечно же, Чехова, который, уходя в бессмертие, оставил нам свое видение грядущей России. В канун вселенских потрясений оно открылось его духовному взору: ***«Мы насадим новый сад, роскошнее этого…»***

Стою на западном склоне Тигровой сопки Владивостока, откуда он сто двадцать лет назад любовался китом, играющим в Амурском заливе. И думаю о том, что этот удивительный человек действительно не хотел быть феноменом, одинокой лермонтовской сосной на голой вершине. Он был обыкновенным, насколько обыкновенна и проста, на первый взгляд, его проза, насколько обыкновенна вишня, растущая почти на всех российских широтах. Хотя у этого простого деревца есть секрет: оно цветёт и плодоносит в полную силу только среди *своих.* Посади его рядом с абрикосами, среди хризантем или на картофельном поле – засохнет.

Человек, самоборствуя, может вырасти и в пустыне – в прямом и переносном смысле слова – но заплатит за это цену, о которой лучше не спрашивать. Родных по духу людей писатель искал всю жизнь. Он, как никто, знал, что встреча *своих* рождает тихое чудо гармонии, незримый обережный круг, который неодолим для кровавого топора эпохи и ледяного ветра пошлости. «Я верю в отдельных людей… интеллигенты они или мужики… в них сила, хоть их мало…»

Такого завещания, точно, не оставлял ни один из писателей мира. Но кто ещё так, как Чехов, знал русского человека?

И, зная, – так верил в него?

Владивосток, 2011